**Ушастая совушка**

В Приманычье издавна водятся ушастые совы. Но в летнее время, тем более в погожие дни, не каждому, доведется, увидеть этих удивительных птиц. Их стихия — темная ночь.

Совы панически боятся солнца. Едва сверкнут его утренние лучи, и птиц как не бывало. Оки искусно прячутся в овражках, кустарниках, камышах, в лесных посадках. Выискивают для отсидки самые глухие места. И лишь с наступлением сумерек они’ становятся грозой для сусликов и. полевок. Да и зайчатам встреча с ними не сулит радости.

Идёшь осенью по пышному манычскому лугу, залюбуешься сиреневой цветенью кермека или других диких трав. А из-под ног как шарахнется крупная серая птица и так громко щелкнет крыльями, что вздрогнешь, вскинешь ружье, затем с колотящимся сердцем стоишь и любуешься, как сова с изумительной легкостью, бесшумно, как тень, начнет описывать круги, вихляясь из стороны в сторону, а то и упадет в траву, перекидается туда-сюда, будто лететь не может. И ты понимаешь: она отводит тебя от гнезда или от затаившихся в кустах птенцов.

Когда же наступит зима и пушистый снежок сплошь окутает землю, совы целыми колониями переселяются к человеческому жилью. С наступлением вечера они усаживаются на крышах скотных сараев, амбаров, на скирдах сена, изгородях и часами сохраняют неподвижность.

Играют ли ребятишки в снежки, борются или катаются на санках с горки, совы как зачарованные пристально глядят желтыми немигающими глазами.

Любопытство птиц до того велико, что забывают они об осторожности. Нам не раз удавалось ловить их. А делали мы это так. Заметим, какая из птиц сидит ниже других на колышке плетня или на заборе, и начнем плясать на снегу, выделывать замысловатые коленца, бренчим на балалайке, что-то вроде концерта устраиваем. Замрет сова. Её круглые лупастые глаза ловят каждое наше движение. А в это время паренек, заранее спрятавшийся за скирдой или сараем, осторожно подкрадывается с противоположной стороны. И чем живее мы пляшем, тем сильнее сова таращится. И в этот-то момент ловец хватает ее сзади за ноги. Рванется птица, ан... поздно.

Как-то поймали мы старую, видавшую виды сову с длинными ушами, похожими на рожки. Она рвалась, хлопала крыльями, сычала, щёлкала острым, загнутым клювом, характер показывала.

И нам захотелось наметить её, чтоб потом легче было узнать. Привязали мы к её когтистой лапе красный лоскуток, на левом ухе укоротили торчащие перья и отпустили.

«Ну, — решили мы,— теперь она так напугалась, что за тридевять земель улетит». Но... ошиблись. Дня через два наша знакомая вновь сидела на прежнем месте. Только всё время вертела головой.

При нашем приближении взлетела, села на конёк сарая, стала пугливо озираться. Взгляд настороженный, вызывающий. Всем своим видом она, казалось, говорила нам: «Что, озорники? Думали, испугаюсь? Как бы не так! Теперь я учёная, голыми руками не возьмёте!»

Снова поймать ушастую совушку нам так и не удалось.

**Ласточки**

У самой крыши нашего дома ласточки из земли и глины слепили гнездо. Крепко-накрепко прикрепили его к карнизу. Висит оно, как чашечка, в укромном месте. Ни дождь, ни ветер ему не помеха. А ласточки с утра кружат, кружат над крышей.

Мать сказала:

— Сыночек, а ведь это к счастью!

Я любил наблюдать, как хлопотливые птицы носили в свой дом перышки, пушинки, листочки горькой полыни, каких-то других трав.

Когда у ласточек появились птенчики, забот прибавилось. С утра и до темна стремительно носились они туда-сюда. Прилетит ласточка с мушками, комарами, мелкими козявками в клюве, не успеет сесть на край гнезда, а навстречу пять широко открытых желтых ртов. Тянутся, наперебой свиристят, требуют еды. Ласточка всех детей оделяет поровну. Нет у нее /маменькиных сыночков да сладкоежек.

Как-то утром мать накинулась на меня:

— Сынок, это ты натворил? — и показала на карниз.

Взглянул я — глазам не поверил: под ласточкиным Гнездом висит на нитке вниз головой птенец, машет слабыми крылышками, качается.

Подтащили мы к дому ящик, на него табуретку поставили да еще маленькую скамеечку. Подсадила меня мать. Дотянулся до гнезда. Взял ластовёнка и ещё больше удивился. Все пять птенчиков были связаны одной длинной волосинкой, видимо, из конского хвоста или гривы. И узелки на лапках такие — развязать мудрено.

— Вот видишь, мама, а ты на меня...

А вечером на завалинке дед Никифор, теребя седую бороду негнущимися пальцами, разъяснял:

— Ласточки — мозговитые птахи. Они завсегда детям путы вяжут, чтобы они, стало быть, во время озорства, по глупому разумению, наземь не скопыхнулись.

А недели через две мне посчастливилось увидеть: подпрыгнул ластовёнок и примостился на краю гнезда. Старая ласточка села рядом, схватила клювом волосинку, потеребила её, перекусила. Птенец соскользнул с гнезда, расправил крылья и полетел. Так мать освободила всех детей от пут.

Завидно было глядеть, как птицы, недавно еще совсем •беспомощные, теперь легко парили в небе.

Как хотелось в тот миг и мне обрести крылья.

**Бабушкин подкидыш**

Мы, дети, любили свою старенькую бабушку, звали ее бабой Катей, бабуней, бабусенькой.

Была она высокой, худощавой, слегка сгорбленной. На её смуглом морщинистом лице светилась улыбка, а карие глаза искрились добротой и любовью.

Каждый день бабуня сыпала нам чудесные степные сказки, удивительные истории. Прожила она девяносто шесть лет, и большую часть жизни — в диких целинных степях Приманычья. Зимой и летом коротала дни и ночи на далеком птичьем зимовнике донского помещика. Ее крохотная мазанка стояла у манычской поймы, вблизи большого мелководного озера.

Жарким летом озеро зарастало камышами, кугой, бодягой, покрывалось куширом, служило приютом для перелетной птицы.

Приехали как-то из города охотники. Плавали по озеру на душегубках, бродили в длинных сапожищах по заболоченным местам. Много дичи добыли. А уезжая, швырнули старушке в чулан совсем ещё молодого, беспомощного журавлёнка.

Много хлопот доставил он ей. Вначале есть ничего не хотел, дичился, тосковал. Бабушка даже плакала. Отпустить же в болото боялась.

— Ведь погибнет. Все равно что сироту-несмышленыша вышвырнуть за ворота, — рассуждала она.

На третий день неволи журавлёнок осмелел. С жадностью набросился на еду. И такой у него аппетит появился, что бабушка едва успевала корм доставлять. Она нежно называла его Журкой-подкидышем.

Месяца через три у журавленка отросли длинные крылья, вытянулись нош. Он стал походить на взрослого журавля.

Пойдет, бывало, бабушка на птичник кур и уток кормить, а Журка за ней по пятам на стройных ногах, как гвардеец, вышагивает. Обитатели птичника с недоумением смотрели на пришельца, покорно расступались, уступали дорогу. Не понравился он лишь лохмоногому петуху Горлопану. Подкараулил тот журавленка, исподтишка набросился, стал мутузить. Оробел подкидыш. Его ещё никто не обижал. Боль пробудила в нем дикую ярость. Он сам набросился на обидчика, клювом, крыльями нанес забияке такие удары, что тот едва дух не испустил да и бежал с позором.

Недружелюбно встретил подкидыша и щенок Рябчик. Подкрался и цапнул за хвост. Журка изо всех сил ткнул обидчика острым клювом так, что тот завизжал и бросился наутёк. С тех пор следил Рябчик за недругом издали, иногда рычал и тявкал. Не мог забыть кровную обиду.

Часто бабушка уходила в целинную степь, рвала цветы, целебные травы, у манычских яров собирала ежевику, откапывала корешки цикория. А Журка-подкидыш ни на шаг не отставал. Сначала ходил и бегал, потом подлетывать стал. Однажды робко поднялся на крылья, покружил над озером да и сел на болотную мочежину. Долго глядел в воду, будто отражением своим любовался. Затем начал за лягушатами гоняться. И так ему это занятие понравилось, что стал он туда летать ежедневно.

Незаметно уходило лето. Пожелтели на озере камыши, пожухла трава на вековой целине. А журавлёнок всё рос да рос.

Шла бабушка как-то со своим питомцем к копанке за водой. Откуда-то из поднебесья опустилась журавлиная стая, закружилась над болотом. «Курлы-курлы», — неслось с высоты.

Запрокинул подкидыш голову, одним глазком поглядел в небо, насторожился, затем откликаться стал. Покурлыкали журавли и опустились на круглом острове.

Поглядел Журка на бабушку, как бы спрашивая: «Как же быть дальше? Что делать?»

— Полети, милок, погляди, авось, родителей опознаешь...

Будто поняв сказанное, журавлёнок взмыл в небо, описал полукруг и сел вблизи острова. Сородичи окружили его. Распустив крылья, топтались вокруг, гомонили. Видать, спорили о чём-то.

На закате солнца поднялась стая, выстроилась в небе клюкой. Полетел с ней и Журка.

Помахала бабушка рукой, поглядела вслед, а у самой — сердце разрывается, будто родного дитя лишилась. А когда стемнело, воротился подкидыш домой, к великой радости её. Видно, понял: слабы его крылья, не угнаться за дикими журавлями. Только с того дня он плохо стал есть, всё глядел в бездонное небо, прислушивался к далеким, неведомым, куда-то манящим и только ему понятным звукам. Иногда он поднимался над зимовником высоко-высоко и снова опускался.

Прошла неделя. Ранним утром пошла бабушка открывать птичник и видит: журавли вновь кружат над болотом, сигналы подают,

Отпустила она журавлёнка. Тот стремглав полетел к острову и только поздним вечером воротился. Так продолжалось много раз.

С каждым днём становилось холоднее. Подули с калмыцких степей певучие ветры. Будто пожарища полыхали, горели вечерние зори, предвещали ненастье.

Как-то во время грозы журавли всю ночь оставались на острове. Тогда не вернулся домой подкидыш. А утром бабушка видела: пролетала стая над зимовником, журавлёнок начал снижаться. Старые журавли окружили его, своими телами подталкивали снизу вверх все выше и выше. Боялись, видно, останется детеныш в суровом краю и погибнет.

С голосистыми ветрами прилетела зима. Сковала Маныч озеро. Закидала сугробами степь. Бураны сметали снег в овраги, терновые балки. По ночам в густых зарослях непролазного камыша протяжно, на разные голоса выли волки. А бабушка сидела в своей землянке да всё думала: «Где теперь милый Журка-подкидыш? Что с ним?..»

Но сколько ни злобствовали ветры, как ни лютовали морозы, пришлось зиме отступить на север… Весеннее солнышко съело снега. Как невеста, нарядилась дикая степь в ярко-зелёное платье, запестрела красными воронцами, лазоревыми тюльпанами.

И опять с юга на север, как тысячи лет подряд, потянулась перелётная птица. Возвратилась и журавлиная стая. И Журка-подкидыш пытался вернуться на зимовник, но сородичи не позволили. Они увели его в далёкие калмыцкие степи.

Лишь поздней осенью, снова улетая на юг, журавлёнок всё-таки снизился над избушкой, что-то прокурлыкал, а бабушка стояла у порога, углом платка утирала слезы.

**Пеганка**

Утку-пеганку мне довелось увидеть впервые ещё в детстве. Было это так. Летним утром собрались мы, друзья-приятели, в поход по берегу Маныча. Взяли с собой удочки, котелок, хлеба-соли да кубышки с подвязанными ручками — ежевику собирать. А её росло превеликое множество. Колючие плети, как змеи, сплошь окутали отвесные яры. И чем выше поднимались плети, тем крупнее там была ягода.

Пройдя верст десять по извилистому берегу, заросшему бузиной, лопухами, морковником, сделали привал. Забросили удочки. Наловили сазанчиков, окуней, ласкириков, затеяли тут же уху варить. Когда загорелся костер, мы пошли к густым зарослям ежевики, стали ягоды рвать.

— Ребята! Сюда! Сюда! — закричал Егорка Ерохин, сын школьного сторожа, маленький, но бесстрашный и отчаянный.

Он смело брал в руки лягушек, ужей, ящериц. Даже гадюк не боялся.

Мы сбежались. Оказалось, он нашел в обрыве лисью нору. На глине были отпечатки звериных лап.

— Давайте лисят заберем! Дома выкормим,— предложил он.

Филька Карпов стал отговаривать.

— Не хочешь? Ну и будь здоров. Нам больше достанется, — сказал Егорка. — Ищите, чем будем копать.

Вскоре, вооружившись палками, мы ковыряли глину, нору раскапывали. Когда уже были близки к цели, во тьме логова послышалось шипение. Отскочили мы в стороны. Только Егорка остался вблизи с поднятой палкой. Из норы с шумом вырвалась крупная белесая утка. С тревожным кряканьем стала носиться над яром.

— Что бы все это значило?

Пока мы размышляли, Егорка запустил руку в нору, стал вытаскивать зеленоватые утиные яйца. Их оказалось шестнадцать. Они были теплыми. Егорка приложил яйцо к уху, затем просмотрел его через кулак на солнце и безапелляционно заявил:

— Насижены. Скоро утята лупиться будут.

И мы положили их на место.

Странным было лишь то, как утиное гнездо оказалось в лисичкином домике? Эта загадка раскрылась для меня лишь через много лет.

Попал я как-то на заповедный остров Веселовского водохранилища— Большой Кузнецовский. Там познакомился с егерем Петренко, человеком, закопчённым на солнце, обдутым ветрами, влюбленным в девственную природу Маныча, его животный мир.

— Глядите, глядите!— показал он на плёс,

Там торопливо плыла в окружении семерых шустрых малышей белая, с желтизной, словно домашняя, утка.

— Это пеганка. Такую не часто увидишь. Хотите, покажу, где она детей вывела?

И он повел нас в овражек.

— Вот в этой норе.

— А как же лиса?

— Лису она выжила.

— Но как?!

Егерь загадочно улыбнулся:

— Без особого труда. Она хитрее лисички-сестрички,

И рассказал:

— Больше всего на свете лиса боится змей. Стоит гадюке заползти в её нору, она покидает жилище. Именно этот лисий страх помогает пеганке. Забравшись в чужой дом, она поджидает хозяйку. Едва та сунет голову в нору, пеганка вытянет шею, издаст змеиное шипение и затрясет головой так, что глаза ее во тьме засверкают. Лисица в ужасе отпрыгнет и умчится куда глаза глядят.

Но бывает и так. Старая лиса, строя жилище, сразу делает несколько входов и выходов. Если пеганка займет один из входов, перепуганная лисонька изнутри забивает его землей, отгораживается наглухо. И живут они совсем рядом. И утка находится под надежной защитой, так как другой зверь не посмеет сунуться к лисьему дому.

**Свиридов лебедь**

За высокими озерными камышами меркли блики зари… Тёмное, чуть окантованное солнечным пояском облако, напоминающее плывущего кита-исполина, поднималось над горизонтом. С каждой минутой оно росло, сгущая сумерки.

Я плыл на плоскодонке по Жабрею. После сильных ударов веслами переставал грести, брал в руки ружье. Лодка сама плыла ровно, бесшумно. В небе слышался посвист утиных крыльев. Мне казалось, что я вижу несущие черные точки, и стрелял наугад. Огненные вспышки, гром выстрелов разрывали мрак, будоражили озеро. Зажмурив глаза, я прислушивался, не плюхнет ли сраженная птица.

На ближних плёсах началась сумятица: разбегались, шлепали лапками по воде лысухи, пытающиеся подняться на крыло, с писком носились в воздухе невидимые кулики-бекасы, с хриплым «ква-а-ак! ква-а-ак!»... поднимались в небо кваквы.

Подплывая к лодочному причалу, я заметил дрожащий огонёк: кто-то в темноте курил. Когда лодка ткнулась в берег, услышал густой, с хрипотцой, голос, по которому узнал колхозного плотника деда Свирида.

— Пуляешь, значит?..

— Пуляю.

— И что ж... уб-иваешь?

— Убиваю.

— Что именно?

— Время и деньги, — ответил я чужими словами много раз слышанными от охотников-неудачников.

— Так-то оно и лучше

— А почему ж лучше?

— А ты поразмысли. К чему палил?

— Вы-то разве не охотник?

— В твои-то годы... грешил. Шомполку имел. Тебе её, верно, и видеть-то не довелось.

— Точно, не видел, — подтвердил я.

— А ты чей же будешь?

Услышав мою фамилию, дед Свирид воскликнул:

— А-а-а! Так ты тот самый, что в городе музыке обучаешься? Слыхал, как же! Доброе дело. А вот в небо палить — пустая, тебе скажу, музыка. Лучше уж с удочкой. Резону больше.

— А почему вы, дедушка, об охоте так отзываетесь?

— Мне об ней вспоминать тошно.

— Почему ж так?

Я присел рядом со стариком на борт лодки. Угостил его папироской, терпеливо ждал.

— Растравил ты душу мою, — сказал Свирид и стал жадно затягиваться.

Выражения лица его я не видел, но при вспышке папиросы заметил: лоб у деда гармошкой, борода дергалась, в глазах искры светились. Что-то сильно разволновало его. Но что?

— Непутёвым я был в твои годы, скажу тебе, ветрогоном. Без меня, бывало, нигде вода не освятится. Ночами от лихости в чужих садах яблоки сносил, арбузы обрывал на бахчах. Угощал на вечерушках девок после лихой пляски. По утрам проклинали мои косточки хуторяне. Соседки голову проломить чаплейкой сулились, а с меня как с гуся... Но вот после одного случая дурь как ветром смело. Будто подменили меня. По хутору даже слухи пошли, что я вроде чокнулся малость от неразделённой любви. Да только пустое это...

Дед полез в карман за кисетом. Я опередил. Снова раскрыл перед ним портсигар. Чиркнул зажигалкой. Сделав затяжку, дед Свирид продолжал:

— Стукнул мне, кажись, семнадцатый годок. И в тот день памятный в гости пожаловал дядя Матвей. Добрейший, скажу тебе, человек, царство ему небесное. Хватит он малость хмельного, обнял меня, растрогался.

— «На, владей!» — говорит. И преподнес мне шомполку-красавицу: резная ореховая ложа, ствол вороненый. По его словам, она на сто шагов утку срезала. Ошалел я, скажу тебе, от радости. Днями у ковадла сидел, из свинца дробь делал. По ночам пропадать стал. Люди сочинили, будто я на соседний хутор мотаюсь, невесту себе вроде высматриваю\*. А я забьюсь в глухомань озерную и палю там из шомполки.

Как-то на зорьке затолкал лодку в кулигу. Обломал вокруг камышинки, чтоб стрелять сподручнее было. И слышу: «Кыл-кыл, кыл-кыл!» Поднял голову, а надо мной — лебеди. Тихо, плавно летят, вытянули шеи, сверкают крыльями. Глядеть бы да радоваться. А я приподнял ружье и в самую гущу ахнул. Смешалась стая, понеслась через плёс. Одна птица приотстала и... бултых в воду. Стая повернула было... Я не выдержал, выпихнул лодку из камышей, налег на весла. Лебедь, покачиваясь на волне, высоко поднял голову, стал уплывать. С меня пот ручьями. Брошу весла, дам выстрел. Пока-вновь заряжу — отплывет подранок. Снова гонюсь, снова стреляю. Ушёл от меня лебедь в камыши.

Старик смолк. Может, старался в точности припомнить какую-то деталь. А может быть, просто устал.

Темное облако-кит уплыло на север. Стало светлее. Сотнями вспыхивали звёзды, будто кто их из решета сеял.

Совсем близко от нас, в камышовых корневищах, слышалась возня каких-то зверушек. Испуганно цвенькнула камышовка. На соседнем озере продудела выпь.

— И что ж дальше? — не выдержал я.

Дед Свирид будто очнулся. А возможно, ждал вопроса.

— Много раз ходил я на озеро и всегда видел того лебедя. Держался он середины. Высоко, гордо этак поднимал голову, словно вызов мне делал. А вот когда пролетали сородичи, кричал вдогонку тоскливо, жалобно. Подплыть мне к нему так и не удалось...

Поздней осенью в последний раз пришёл я на озеро. Ветер трепал помертвевшие камыши, срывал с метёлок пух, сыпал на воду. На закрайках уже застыла ледяная корка. Лебедь мой, как и прежде, покачивался на волнах на самом глубоком месте.

Через глухие плёсы подобрался я к тем кустам камыша, куда лебедь уплывал на ночевку. И не успел еще выбрать надежного укрытия, как над озером засверкала лебединая стая. С большой высоты белые птицы-великаны опустились на воду и плотным кольцом окружили подранка. Я затаился, глаз не спускал. Гомонят они, плавают по кольцу, будто хоровод водят. Один из лебедей подплыл к подранку, взял своим клювом его клюв, как бы целуя, затем прижал свою голову к его голове. То же сделал второй, третий... Мне казалось, каждый из них хотел обласкать несчастного, шепнуть ему последнее прости. Хоровод кружил, пока простились все. Затем лебеди с криком дали разбег, поднялись над водой и, набирая высоту, растаяли в вечерней дымке.

Долго недвижно сидел покинутый подранок. Вдруг он приподнялся, со страшной силой стал хлестать крыльями, но они не подняли его. До меня донесся его стонущий крик. Когда он смолк, шея его упала, как плеть, голова погрузилась в воду.

Выехал я из камыша, налёг на вёсла, доплыл, но было уже поздно. Перевернул я лебедя, а под его крыльями зияли незажившие раны. Изо рта выливалась вода. Он утопил себя.

Придя домой, я со всего маха хрястнул ружьем о каменный каток, только щепы от резной ложи полетели.

Много лет не давал мне покоя тот лебедь. Только, бывало, усну, он тут как тут: бьет крыльями, пытаясь подняться ввысь. Не раз просыпался я от его предсмертного стона...

Смолк старик. И я не находил слов. Мне еще долго чудился Свиридов лебедь.